

В земном же бытии Волошина, как обычно, масса проблем – мелких и крупных. Кишмя кишит самыми разными людьми посёлок-муравейник Коктебель. Наезжает с маленьким ребёнком и престарелой матерью всегда беспокойная Майя Кудашева, тяжело переживающая гибель мужа, подпоручика белой армии; Татида, не ужившись с Пра, уезжает в Болгарию; происходит ссора Волошина с Эренбургом... Да и здоровье Макса оставляет желать лучшего: его мучает ревматизм плеча, одолевают головные боли, дают о себе знать почки, как считает врач, «благодаря недоеданию, истощению и сильной нервной работе». Увы, в то время это был весьма распространённый диагноз. А тут ещё в дом, официально освобождённый от постоя, вселяют сорок пять кубанских казаков, которые обильно «удобряют» окрестности... Волошину никак не удаётся найти издателя для новой книги стихов, хотя замысел и структура «Неопалимой Купины» у него давно созрели, а за поэтическим материалом дело бы не стало. Поэт старается заинтересовать своим творчеством командующего Первой армией генерала А. П. Кутепова, делает попытки выйти на самого главнокомандующего Русской армией барона П. Н. Врангеля, но – тщетно. Не помогает и обращение за помощью к П. Б. Струве... Может быть, время сейчас такое, непоэтическое?.. Или его поэзия слишком специфична и не вписывается в общепринятые каноны?..

А над Крымом сгущаются тучи: положение Русской армии становится критическим. «Использовать выгодную стратегическую обстановку в связи с нахождением главных сил красных на Польском фронте не решились, – пишет в своих мемуарах генерал-лейтенант Я. А. Слащов-Крымский, – а впоследствии пришлось принять на себя весь их удар... А время было, были и средства». Так или иначе, но время и судьба, расчёт и удача были на стороне командующего Красной армией М. В. Фрунзе. 8 ноября 1920 года красные начинают штурм Турецкого вала, а спустя три дня П. Н. Врангель отдаёт приказ об оставлении Крыма...

Забыть ли, как на снегу сбитом  
В последний раз рубил казак,  
Как под размашистым копытом  
Звенел промёрзлый солончак,  
И как минутная победа  
Швырнула нас через окоп,  
И храп коней, и крик соседа,  
И кровью залитый сугроб.  
Но нас ли помнила Европа,  
И кто в нас верил, кто нас знал,  
Когда над валом Перекопа  
Орды вставал девятый вал, –

напишет участник последних крымских сражений белых – поэт Иван Туроверов.

«Все мои желания остались только желаниями, – подведёт итог Я. А. Слащов. – Армия садилась на суда, покидая Крым, ничего сделать было нельзя, и я на ледоколе „Илья Муромец“ выехал в Константинополь, покидая землю, которую всего несколько месяцев тому назад держал с горстью безумцев-храбрецов...»

## НАМ ЛИ ВЕСИТЬ ЗАМЫСЕЛ ГОСПОДНИЙ?

Что менялось? Знаки и возглавья.  
Тот же ураган на всех путях:  
В комиссарах – дурь самодержавья,  
Взрывы революции в царях.

## Северовосток

И этой ночью с напряжённых плеч  
Глухого Киммерийского вулкана  
Я вижу изневоленную Русь  
В волокнах расходящегося дыма,  
Просвеченную заревом лампад –  
Страданиями горящих о России...  
И чувствую безмерную вину  
Всея Руси – пред всеми и пред каждым.

## Россия

В январе 1923 года Александр Семёнович Яценко, издатель популярнейшего в Берлине журнала «Новая русская книга», получил от Волошина письмо на сорока с лишним страницах с приложением стихов, страшных своей почти документальной наглядностью. Пытаться передать такую корреспонденцию по почте было бы немыслимым безумием. Поэтому крымский пакет был доставлен в Берлин с нарочным, в качестве которого выступила одна молодая дама. Вспоминает Роман Борисович Гуль, автор книги «Я унёс Россию. Апология эмиграции»: «Во второй половине дня в дверь редакции позвонили. Я отворил. Передо мной – скромно одетая женщина с удивительно приятным, строгим лицом (предположительно, София Абрамовна Левандовская, сотрудничавшая в Наркоминделе. – С. П.). Она спросила, здесь ли профессор Яценко? – „Да, пожалуйста“. – И она вошла. Яценко она была незнакома...

Я сидел за своим столом. Женщина эта – явная интеллигентка, правильное, хорошее лицо, красивые, карие глаза. И во всём её облике – какое-то удивительное спокойствие. В руках у неё – кожаный портфель. Глядя на Яценко, она сказала негромким, грудным голосом: „Я к вам от Максимилиана Александровича Волошина“. – От неожиданности Яценко даже удивительно-вопросительно полувскрикнул: „От Макса?!“ – „Да, от Максимилиана Александровича“. – „Значит, вы из Крыма?!“ – „Я была у него в Коктебеле. И он попросил меня передать вам письмо и рукопись в собственные руки“. – „Очень, очень рад...“ – бормотал несколько поражённый Яценко... Женщина вынула из портфеля тетрадку и довольно толстую рукопись на отдельных листах. „В тетради – личное письмо к вам, а это – стихи Максимилиана Александровича, которые он просит вас опубликовать за границей, где вы найдёте возможным“. Яценко всё взял. Стал спрашивать, как Волошин живёт, давно ли она его видела, остаётся ли она за границей или возвращается назад. – „Нет, я не остаюсь, – с лёгкой улыбкой сказала она, – я скоро уеду назад“...»

Письмо, которое вскоре исчезло, было прочитано многим посетителям редакции – А. Н. Толстому, И. С. Соколову-Микитову, И. Г. Эренбургу, а стихотворения вскоре опубликованы в журнале «Новая русская книга» (1923 г., февраль) и отдельным изданием (июнь) под заголовком «Стихи о терроре» (Книгоиздательство писателей в Берлине; редактор Г. В. Алексеев). Параллельно это же издательство выпустило «Демонов глухонемых».

Имя Волошина, его отдельные произведения встречались в это время во многих эмигрантских изданиях самого разного толка. Давал о нём сведения и А. С. Яценко, считавший автора «Китежа» и «Святой Руси» наиболее «свободным по духу поэтом». Однако, вскрыв пакет, издатель убедился, что с подобным материалом он столкнулся впервые. В так и не дошедшем до нас письме М. Волошин делился своими жуткими впечатлениями от жизни в Коктебеле во время Гражданской войны. Он писал, сообщает читавший письмо Р. Гуль, о приходе белогвардейцев, контрастности и взятии Крыма

Красной армией и, главное, о том, что в результате этого началось. А началась ставшая уже привычной великая пролетарская «чистка», вылившаяся в те процессы, которые развернутся в «стране победившей революции» в последующие десятилетия. «Чистки» эти накатывались волнами: последеникинская, послебрангелевская... «Вступала новая власть, – свидетельствует историк С. П. Мельгунов, – и вместе с нею шла кровавая полоса террора мести... Это была уже не гражданская война, а уничтожение прежнего противника. Это был акт устрашения для будущего».

Последняя крымская «чистка» имела свою трагическую подоплёку: многие военнослужащие не смогли (или не захотели) уйти в эмиграцию. Кое-кто рассчитывал на обещанную большевиками амнистию. Оставалось не менее шестидесяти тысяч (цифры до сих пор не уточнены и могут сильно колебаться) теперь уже бывших солдат и офицеров, ждущих своей участи. Все они должны были зарегистрироваться в советских органах власти на основании положения о всеобщей трудовой повинности. Возникавшие списки становились расстрельными. Началось массовое избиение, жуткая наглядность которого поражает в стихотворении Волошина «Террор» (1921). «Террор, как известно, проводился Бела Куном, – вспоминает Р. Гуль, бывший белогвардеец, ставший впоследствии видным прозаиком русского зарубежья, – помощницей его была Землячка, Розалия Залкинд, известная большевичка... И они там перестреляли не то 100, не то 150 тысяч бывших белых. Волошин рассказывает в... письме, что Бела Кун остановился у него, и, так как Волошин был человек не от мира сего, он покорила даже этого убийцу – Белу Куна. Тот с ним в какой-то мере подружился и разрешил ему вычёркивать каждого десятого человека из проскрипционных списков, и Волошин вычёркивал со страшными мучениями, потому что он знал, что девять остальных будут зверски убиты. Волошин описывал, как он молился за убиваемых и убивающих, и письмо это было совершенно потрясающим». В «чёрных» (или «кровавых») списках нашёл поэт и собственное имя (о чём упоминается в стихотворении «Дом Поэта»), Имя его, правда, вычеркнул сам Б. Кун.

Красный террор вызывал белый террор. «Кройке лампасов» на теле жертвы соответствовало «вырезание звёзд». Зловещая одноцветность террора сменила былую пестроту, когда то тут, то там

Мелькали бурки и халаты,  
И пулемёты и штыки,  
Румынские большевики  
И трапезундские солдаты...

Когда накатывались, «отводя душу» –

Толпы одесских анархистов,  
И анархистов-коммунистов,  
И анархистов-террористов:  
Специалистов из громил... –

вспоминаем мы стихотворение Волошина «Феодосия» (1919). Ведь были ситуации, когда абсурд усобицы приводил к тому, «Что Господа буржуй молил, / Чтобы у власти продержались / Остатки большевицких сил»... Теперь пришло время примитивного тяжеловесного катка, движущегося то в одном, то в другом, противоположном, направлении и сминающего на своём пути всё живое...

Итак, в 1923 году были опубликованы стихотворения, которые А. С. Яценко получил вместе с письмом. Так русская эмиграция познакомилась с волошинским циклом стихов о терроре. В том же берлинском книгоиздательстве, где вышли «Стихи о терроре», за год до этого было анонсировано издание книги «Лебединый стан» М. Цветаевой, чьи стихотворения 1917–1920 годов можно в какой-то мере сопоставить с волошинскими по

накалу чувств и стремлению осмыслить историю. Однако Цветаевскому сборнику суждено было увидеть свет только в 1957 году. Пока же в замкнутый быт русской колонии прорвались стихи её старинного друга, ворвался «Чёрный ветер ледяных равнин, / Ветер смут, побоищ и погромов, / Медных зорь, багровых окоёмов, / Красных туч и пламенных годин», выплеснулась вакханалия кровавой бойни со своим лексическим словарём:

...«Хлопнуть», «угробить», «отправить на шлёпку»,  
«К Духонину в штаб», «разменять» –  
Проще и хлеще нельзя передать  
Нашу кровавую трёпку.  
Правду выпытывали из-под ногтей,  
В шею вставляли фугасы,  
«Шили погоны», «кроили лампасы»,  
«Делали однорогих чертей»...

(«Терминология», 1921)

И всё это – на фоне вьюг и «снежных стихий», заметающих новые и «древние гроба».

«Бури-вьюги, вихри-ветры» бушуют и в стихах М. Цветаевой, определяя их основной лейтмотив. Ветры («ветренный век») и вьюги («гражданские бури») передают атмосферу Смуты, всеобщего разлада и дисгармонии. В литературоведении не раз отмечалось, что тема ветра-вьюги берёт начало в стихах А. Блока. Но если автор «Двенадцати» воспринимает её двояко – как разрушение-созидание, то поэт «Лебединого стана» – как сугубо разрушительную стихию. В блоковской буре хаос преобразовывается в космос. У Цветаевой космос подавляется хаосом, смутой, стихией ордынского нашествия. В «Усобице» и «Стихах о терроре» Волошина мы находим третий, синтезирующий два противоположных начала, вариант.

«Смрадный ветер, как свечи, жизни тушит...» («На дне преисподней», 1922), «...А души вырванных / Насильственно из жизни вились в ветре, / Носились по дорогам в пыльных вихрях...» («Красная Пасха», 1921). Да, Ветер – Смерть. Но, хотим мы того или нет, «В этом ветре вся судьба России – / Страшная безумная судьба» («Северовосток», 1920). Здесь ещё и утверждение providенциального Испытания, «Божий Бич», направляющий к спасению и перерождению. Не случайно в качестве эпиграфа к стихотворению «Северо-восток» приводятся слова архиепископа Турского, обращённые к Аттиле: «Да будет благословен приход твой, Бич Бога, которому я служу, и не мне останавливать тебя». Прав, думается Э. М. Розенталь, который в своей историко-публицистической работе «Знаки и возглавья» (1995), рассуждая о морально-философских уроках Волошина, в частности, пишет: «Современные аналитики революции, повторяя Волошина в её оценках, делают выводы, противоположные волошинским. Они, проклиная революцию, ностальгируют по России, которую мы „потеряли“, а Волошин, осуждая революцию, вместе с тем обращался к ней: „Божий бич! Приветствую тебя!“ И думал о России, которую мы приобретаем. Эрудит, великолепный знаток истории, он понимал, что при всех своих издержках революция лежала в русле исторического развития. И что выступать против исторически необратимого – это всё равно что уподобляться царю Ксерксу, который приказал высечь море плетью за то, что оно погубило его корабли».

В РГАЛИ хранится экземпляр стихотворения «Красная Пасха», принадлежавший Ф. Г. Раневской, с её пометами: «Эти стихи читал М. А. Волошин с глазами красными от слёз и бессонной ночи в Симферополе 21 года на Пасху у меня дома». Раневская и её близкие «падали от голода, М. А. носил нам хлеб. Забыть такое нельзя. Сказать об этом в книге моей жизни тоже нельзя...». Однако Волошин говорил – в стихах, когда сама жизнь отторгала поэзию. Слагал их из мрака и ужаса бытия:

Зимою вдоль дорог валялись трупы

Людей и лошадей. И стаи псов  
Въедались им в живот и рвали мясо.  
Восточный ветер выл в разбитых окнах.  
А по ночам стучали пулемёты,  
Свистя, как бич, по мясу обнажённых  
Мужских и женских тел. Весна пришла  
Зловещая, голодная, больная.  
Глядело солнце в мир незрячим оком.  
Из сжатых чресл рождались недоноски  
Безрукие, безглазые... Не грязь,  
А сукровица поползла по скатам.  
Под талым снегом обнажались кости.  
Подснежники мерцали точно свечи.  
Фиалки пахли гнилью. Ландыш – тленьем.  
Стволы дерев, обглоданных конями  
Голодными, торчали непристойно,  
Как ноги трупов...

Это тот самый случай, когда поэзия возникает, казалось бы, вне образной системы, когда само название и перечисление вещей и явлений (наглядных в своей жути) производит эффект разорвавшейся бомбы. Концовка этого стихотворения – глубинно эмоциональна и одновременно символична:

Зима в тот год была Страстной неделей,  
И красный май сплелся с кровавой Пасхой,  
Но в ту весну Христос не воскресал.

А ведь начало красной эры не предвещало ничего ужасного. В Феодосию вошла 30-я стрелковая дивизия, сформированная в Иркутске и потому состоящая преимущественно из сибиряков. Никаких эксцессов не было. Никто никому не мстил. Выдавали пайки и определяли на службу. Всегда веривший в доброе, «ангельское», начало в человеке, Волошин написал 23 ноября стихотворение, которое было опубликовано в «Известиях Феодосийского ревкома»:

В полях последний вопль довоплен,  
И смолк железный лязг мечей,  
И мутный зимний день растоплен  
Кострами жгучих кумачей.

Каких далёких межиречий,  
Каких лесов, каких озёр  
Вы принесли с собой простор  
И ваш язык и ваши речи?

Вы принесли с собою весть  
О том, что на полях Сибири  
Погасли ненависть и месть  
И новой правдой веет в мире.

Пред вами утихает страх  
И проясняется стихия,  
И светится у вас в глазах

## Преображённая Россия.

(«Сибирской 30-й дивизии»)

Стихотворение посвящено С. А. Кулагину, возглавлявшему ЧК дивизии, с которым Волошин, по своему обыкновению, сблизился и проводил время за чтением стихов.

Всё было тихо-мирно. Сдержанно вели себя махновцы, влившиеся в город вместе с частями Красной армии; в ходу были «советские» деньги; мещане «в ярких ситцах» ходили глазеть на сгоревший санитарный поезд, лузгали семечки и обсуждали цены на хлеб. Начался учебный процесс в Народном университете, ректором которого стал В. В. Вересаев, а проректором – Д. Д. Благой. Но подлинным инициатором его возникновения выступил М. А. Волошин. Поэт (уже не в первый раз) был настроен на открытое сотрудничество с новой властью; в речи по случаю открытия университета он прямо провозгласил, что теперь «интеллигенция должна отдать все свои силы и знания на строительство новой жизни».

И всё же красные победители оставались для Волошина в чем-то непонятными, загадочными. «Я видел, как он присматривался к ним в Феодосийском Народном университете, – вспоминает Э. Л. Миндлин. – ...Максимилиан Волошин с первого дня жизни университета начал читать в нём курс лекций по истории искусства Италии и Голландии... Разместился Народный университет во втором этаже старинного дома по Итальянской улице, вход был открыт для всех, и длинный зал салатного цвета с потемневшим лепным потолком был переполнен слушателями в шинелях и гимнастёрках с красноармейскими шлемами на коленях. Волошин читал им о возрожденцах – о Микеланджело и Леонардо да Винчи, а они ещё дух не успели перевести после последних боёв за Крым.

Волошин сидел перед ними за столиком, забросив за спинку стула правую руку, а левой, согнутой в локте, подпирал огромную рыжую голову. Он сидел в своём серо-зелёном костюме среднеазиатского странника, в коротких, по колена, штанах, в чулках и сквозь поблёскивающие стёкла пенсне на чёрной тесьме с любопытством и удивлением рассматривал полных внимания слушателей. Он удивлялся, что они его слушают. *Они* – и вдруг слушают о Леонардо да Винчи! Им – и вдруг интересен Микеланджело!.. Волошин замолкал на минуту, и слегка сощуренные серые глаза его пытливо всматривались в небритые и обветренные в боях лица его „студентов“. Ни шевеленья не слышалось во время этих внезапных пауз. Стороны изучали друг друга... Он уходил из университета в этот вечер смущённым, сосредоточенным, был вовсе не так общителен, как обычно, и явно хотел остаться наедине с собой».

Деятельность Волошина на ниве культуры набирает обороты. 19 ноября 1920 года он получает удостоверение заведующего охраной ценностей искусств в Феодосийском уезде; 23-го участвует в совещании татарской секции Наробраза, куда входят А. М. Петрова и часто бывавший в Коктебеле В. А. Рогозинский; 27-го обращается к начальнику феодосийского гарнизона с заявлением о необходимости охраны Карадагской биологической станции. Он заботится о сохранении частных художественных коллекций, продлевая жизнь многим культурным ценностям, постоянно навещает отдел искусств, проявляя самую разнообразную инициативу, не всегда, впрочем, оправданную. Макса, в частности, раздражали дворцы табачных фабрикантов И. Стамболи и И. Крыма на Екатерининской набережной, которые он – дабы не развращать вкусы народа – требовал уничтожить. Требования эти, понятное дело, удовлетворены не были, и сегодня, вопреки категоричности поэта, в этих зданиях, напоминавших Волошину Сандуновские бани, размещены дома отдыха и санатории... Не находили понимания у новых хозяев жизни и речи Макса о необходимости запрещения «костюмов буржуазного типа». Художник считал, что наша одежда, особенно чёрная, – примитивное подражание машине. Он сравнивал рукава чёрного пиджака с железными трубами, пиджак – с котлом, карманы – с клапанами паровоза. Лучшая одежда – та, что хорошо смотрится на ветру, намекал поэт на свою ориентацию быть ближе к природе, правда, сам в холодное время носил чёрное пальто с бархатным воротником...

Между тем, вспоминает Миндлин, реквизировались не только дворцы буржуазии, но и

дачи на побережье. Волошину вновь пришлось суетиться. В результате он «получил из Москвы охранную грамоту, и на дверях его мастерской во втором этаже дома-корабля появилась копия этой грамоты, написанная каллиграфическим почерком». Возглавляя Феодосийское отделение Всероссийского союза поэтов (СОПО), Макс составляет ходатайства о пропусках для литераторов, желающих уехать в Москву. Прежде всего он хлопочет о документе для Д. Д. Благого, который должен был представить в столичное издательство законченную им монографию о Тютчеве. Покладистая пока советская власть выдаёт пропуска сразу большой группе писателей; в результате, по свидетельству того же Миндлина, нам «дали вагон-теплушку, и мы вместе – Майя Кудашева с сыном и матерью, бывший подпольщик, член ревкома поэт Звонарёв... бывший редактор „Известий Феодосийского ревкома“ Даян, актриса Кузнецова-Гринёва с дочерью, поэт Томилин, ещё какой-то поэт, и ещё какой-то...» покинули Крым.

Волошин же никуда не собирается. В Крыму он весьма популярная личность. «Местные жители, – пишет Э. Л. Миндлин, – давно привыкли к нему и без любопытства смотрели на его удивительную фигуру. Но красноармейский патруль обратил на него внимание. Должно быть, подозрительным показался необыкновенный наряд поэта. Нас остановили и потребовали предъявить документы. Моя бумажка удостоверяла, что я работаю в подотделе искусств народного образования Феодревкома. Но Волошин никогда не носил в карманах никаких мандатов или удостоверений. Он привык, что в Феодосии да и вообще во всех местностях Крыма чуть ли не каждый прохожий знает его в лицо. В ответ на требование патруля Волошин назвал себя:

– Я поэт Максимилиан Волошин.

Увы, имя его ничего не сказало красноармейцам. Я пытался растолковать им, что перед нами известный русский поэт, его лично знает Анатолий Васильевич Луначарский, и председатель Феодосийского ревкома Жеребин тоже знает его. Возможно, в конце концов нас и отпустили бы с миром, но всё испортил Волошин. Очень уж оскорбился, что его задержали на улице города, где каждому мальчишке ведом поэт Волошин! Серые глаза его потемнели, щёки и лоб угрожающе запылали... Я не узнал его голоса, обычно такого мягкого и спокойного:

– Как вы смеете преграждать дорогу поэту!»

Естественно, обоих поэтов повели в комендатуру, где стражи порядка намеревались хорошенько проучить гордецов-интеллигентов. Однако, как свидетельствует Миндлин, «комендант, в распахнутой кавалерийской шинели и в шлеме, от забот съехавшем набок, не улыбка молодой человек, услышав имя Волошина, сразу насторожился:

– Нет, правда? Максимилиан Волошин? Тот самый?

Я поспешил подтвердить:

– Тот самый, товарищ комендант, тот самый Максимилиан Волошин! – и торжественно посмотрел на Волошина.

Надо было видеть его растерянное лицо. Комендант в красноармейском шлеме, „простой большевик“, знает имя поэта Максимилиана Волошина!.. Было бы проще, понятней, если бы комендант принял Волошина за белогвардейца-буржуя! И от коменданта он вышел... озадаченным и смущённым...

Непознанную Россию предстояло ещё познать».

Однако познавать Россию в дальнейшем пришлось при отягчающих жизнь обстоятельствах. Дело в том, что 30-я дивизия завершила в Феодосии свою «вахту», и на смену ей прибыла из Севастополя 9-я ударная, руководство которой отнюдь не отличалось лояльностью по отношению к лицам непролетарского происхождения. В Симферополе в качестве главы ревкома воцаряется Бела Кун. Начинается новый виток регистраций и проверок. Обещания «неприкосновенности личности» гроша ломаного не стоят. Начинаются поголовные расстрелы добровольно явившихся и зарегистрировавшихся офицеров. Из Симферополя волна репрессий докатилась до Феодосии. Не щадили даже военнослужащих, призванных из запаса, фактически не принимавших участия в Гражданской войне. Расправа

производилась с особой жестокостью:

Загоняли прикладом на край обрыва,  
Освещали ручным фонарём.  
Полминуты работали пулемёты,  
Доканчивали штыком.

Ещё недобитых валили в яму.  
Торопливо засыпали землёй.  
А потом с широкою русской песней  
Возвращались домой...

(«Террор», 1921)

Вспоминает В. В. Вересаев: «Когда после Перекопа красные овладели Крымом, было объявлено во всеобщее сведение, что пролетариат великодушен, что теперь, когда борьба окончена, предоставляется белым на выбор: кто хочет, может уехать из РСФСР, кто хочет, может остаться работать с Советской властью. Мне редко приходилось видеть такое чувство всеобщего облегчения, как после этого объявления: молодое белое офицерство, состоявшее преимущественно из студенчества, отнюдь не черносотенное, логикой вещей загнанное в борьбу с большевиками, за которыми они не сумели разглядеть широчайших народных трудовых масс, давно уже тяготилось своей ролью и с отчаянием чувствовало, что пошло уже по ложной дороге, но что выхода на другую дорогу ему нет. И вот вдруг этот выход открывался, выход к честной работе в родной стране.

Вскоре после этого предложено было всем офицерам явиться на регистрацию и объявлялось: те, кто на регистрацию не явятся, будут находиться вне закона и могут быть убиты на месте. Офицеры явились на перерегистрацию. И началась бессмысленнейшая кровавая бойня. Всех явившихся арестовывали, по ночам выводили за город и там расстреливали из пулемётов. Так были уничтожены тысячи людей. Я спрашивал Дзержинского: для чего всё это было сделано? Он ответил:

– Видите ли, тут была сделана очень крупная ошибка.

Крым был основным гнездом белогвардейщины. И чтобы разорить это гнездо, мы послали туда товарищей с совершенно исключительными полномочиями. Но мы никак не могли думать, что они так используют эти полномочия».

Волошин и в это страшное время остаётся самим собой: пытается спасти как человеческие жизни, так и культурные ценности. В эпоху массового террора, когда за жизнь человека нельзя было дать и полкопейки, он сигнализирует в губернский Наробраз о «безнадёжном» положении в уезде библиотек и коллекций, требует «немедленного освобождения от постоя зданий и мест, снабжённых Охранительными свидетельствами». По-видимому, именно тогда, в конце 1920 года, случилось то, что было мифологизировано Р. Гулем и в виде легенды отложилось в сознании позднейших историков литературы. Трудно утверждать наверняка, кто был тот «красный вождь» или комиссар, который разрешил Волошину вычёркивать каждого десятого из «кровавых списков». Возможно, это был не Бела Кун, а кто-то другой (берлинское письмо Волошина не сохранилось), и действие происходило не в Коктебеле, а в Феодосии, где поэт познакомился с председателем ЧК 3-й дивизии, разместившейся в Доме Айвазовского, в котором жил и поэт.

Есть версия, согласно которой именно этот безымянный чекист (имя им – легион) запечатлён в черновых набросках поэта: «Палач-джентльмен. Очень вежливый. Всё делает собственноручно, без помощников. Если пациент протестует... он отвечает: „Простите, товарищ, мне некогда. Будьте добры, разденьтесь и лягте. Я вас сперва разменяю, а потом вы будете разговаривать“... Сам обходит лежащих носом в землю, со связанными за спиной руками, и каждому аккуратно пускает пулю в затылок... Иногда напивался и говорил сестре милосердия: „Ох, лезут, лезут, сестрица, лезут из-под земли“».

К этому времени общее число казнённых и замученных в одной только Феодосии приближалось к десяти тысячам. 12 февраля 1921 года поэт писал матери: «Пришлось переживать это время и видеть то, что стоит за пределами ужаса». Согласно его статистике, в Крыму за первую зиму «было расстреляно 96 тысяч – на 800 тысяч всего населения, т. е. через восьмого. Если опустить крестьянское население, не пострадавшее, то городского в Крыму 300 тысяч, т. е. расстреливали через второго. А если оставить интеллигенцию, то окажется, что расстреливали двух из трёх»... При этом, находясь, по его словам, «во рву львином», Волошин, как отмечали близко его знавшие люди, не переставал вещать «о любви к человеку, к жизни; говорил, что зло можно победить только добром, ненависть – любовью. Никакой мести не должно быть, иначе это кровавое колесо будет вращаться без конца». Не забывал Макс и о своих культурно-просветительских обязанностях. Даже в это кошмарное время Волошин находил возможность выступить со стихами во взрослой аудитории и поучаствовать в работе школьного литературного кружка. Он выезжал в Симферополь, встречался с заведующим Крымнаробразом П. И. Новицким, ставил вопрос о создании специальных народных школ – художественной и литературной, был обеспокоен подготовкой кадров преподавателей. Он разрабатывал проект создания бесплатных летних колоний для писателей и художников, «свободных мастерских» для совершенствования талантов, мечтал о том, «чтобы ни один человек в Народе не оставался чужд радости художественного творчества». Волошин надеялся на то, что и его дом в скором будущем станет художественной колонией.

Пианистка, певица, а тогда 16-летняя девушка, Мария Изергина вспоминает, что Волошин всегда «очень увлекался творчеством, возникавшим в народе. Я помню, как Макс и моя тётка, художница (Е. А. Говорова. – С. П.), возились с новоявленным поэтом, денщиком какого-то генерала, который начал писать стихи, – и даже заставляли читать его с эстрады. Стихи были ужасающим набором (неграмотным при этом) каких-то душещипательных, модных салонных слов с гражданскими порывами. Я помню из всего этого только одну фразу, оканчивающую стихотворение: „Танцуй свою тангу“». Но больше запомнился сам наставник, который своей одеждой напоминал Мусе заграничного туриста: «берет, короткая тальма и короткие же брюки, застёгивавшиеся на пуговицу под коленом. На ногах были крепкие чулки и тяжёлые ботинки. Это вызывало оживление среди мальчишек, и он шёл под их свистки, смех и всяческие комментарии. Это его нисколько не смущало, и как-то он сказал, когда мы проходили с ним под этот шум: „Как говорится в Библии, лучше пройти побитым камнями, чем пройти незамеченным“».

М. Н. Изергина отмечает, что Макс в обращении был «очень внимателен, очень доброжелателен и приветлив... Всегда между ним и собеседником была... прозрачная, но ясно ощутимая перегородка. Какая-то у Макса была недоступность: какой-то вещью в себе был Макс... Несмотря на это, в нём проявлялась иногда... детская радость, когда, например, у него удавалась какая-нибудь острота или фраза... Эстетику Макс никогда не забывал и считал, что высший духовный мир без красоты невозможен, что понятия о красоте могут меняться в разные эпохи, но сам эстетический комплекс присущ вечно человеку». Эстетика же была сопряжена у этого человека «с прекрасной, высокой этикой. Прекрасное и доброе для него сливались». В своей «отрешённости от всего бытового» поэт стремился быть «гармоничным и сосредоточенным». Девушке запомнилось, как на вопрос, к какому крылу он принадлежит – красному или белому, Макс как-то ответил: «Я летаю на двух крыльях».

А «летать» приходилось много. Ведь надо было всюду поспеть, кому-то помочь, кого-то подбодрить, что-то предложить, где-то выступить. Наведываясь в Симферополь, Волошин «залетает» в литературную секцию Наробраза, в Центральный музей Тавриды, в партшколу, обсуждает текущие дела и планы на будущее с П. И. Новицким, участвует в проекте установления памятника Освобождению Крыма; возвращаясь в Феодосию, неизменно «летит» в мастерскую К. Ф. Богаевского, где выступает перед друзьями и друзьями друзей с лекциями и со стихами, ведёт постоянные беседы с тяжело больной А. М. Петровой («У нас в России никто так не говорит», отмечает она), читает лекции в

Народном университете и в кинематографе «Иллюзион», разрабатывает программу Коктебельской художественно-научной экспериментальной студии (КОХУНЭКС).

Макс подходит к этому проекту неформально. Проще было бы собирать у себя талантливых поэтов, художников, а то и всех желающих, заслушивать выступления, просматривать этюды, вставлять замечания. Но Волошин хочет поставить дело на широкую ногу, в духе времени: расширить территорию студии за пределы своего дома, построить помещения для мастерских и жилья, а заодно – приобрести землю, пригодную для устройства огорода и, как тогда говорили, коммунхоза. Конечно же нужны будут пайки, средства передвижения, не говоря уже о красках, бумаге, холстах – их надо будет получить со складов. Хорошо бы ещё наладить выпуск собственной «продукции»: лекций по литературе и искусству, лучших стихов... И, разумеется, должны быть колонии-школы, опекаемые «взрослыми» художниками и педагогами-наставниками. Можно будет селиться семьями. Главное, чтобы каждый студиец был не сам по себе, а принимал посильное участие в общей, хозяйственной и культурной, жизни коллектива.

Да, планы воистину наполеоновские, только вот здоровья не хватает... Самое неприятное, что отказывается работать правая рука – следствие давнего перелома. Очевидно, вновь надорвал связки, рубя дрова. Что будет в дальнейшем, сможет ли он держать в руке кисть?.. На несколько месяцев поэта выводит из строя жестокий полиартрит. Да и мать уже совсем плоха, требует к себе повышенного внимания. А характер её к старости отнюдь не смягчился. Показательна запись А. М. Петровой от 3 августа 1921 года: «Ужасно болит душа за него: его мама – его крест. Её тоже жаль, но... сопоставление никак не в её пользу. Она это чувствует и чем дальше, тем всё более ревнует к нему всех любящих его лично, а также всех, ценящих его как поэта и мыслителя... Его жизнь с нею – сплошная пытка. В ней – ни капли тёплого материнства, а одна издёвка над ним. Хорошо, что он верующий и понимает это, как „испытание“ ему; он всюду и всегда умеет смотреть на свои неудачи философски – спокойно и не теряя чувства объективности... Но мать доводит его, после долгого терпения, борьбы с собою, до взрывов полного отчаяния и истерики».

Макс испытывает невыносимые боли в ноге и спине. И как хорошо, что есть люди, по-настоящему ему близкие, оказывающие помощь ему – всегда и всем помогавшему, а ныне в ней нуждающемуся. Приходит художница и актриса Валентина Успенская («Валетка»), делает поэту массаж ноги и горячие ванны с шалфеем, помогает добрая и словоохотливая Ольга Юнге, даже Пра вносит свой вклад – варит сыну манную кашу. Бывают Вересаев, Кедровы, Новицкий, развлекают больного рассказами о том, что делается в мире и близлежащих окрестностях. Таким образом, Макс узнаёт о себе много нового, весьма интересного. В посёлке одни поговаривали о том, что Волошина как сочувствовавшего белым собирается арестовать ЧК. Да нет, что вы, возражали другие, Волошин – сам видный чекист, во всяком случае, он напрямую сотрудничает с органами: «Он кого угодно может спасти от расстрела – только очень дорого берёт за это». А что: «Вот, братьев Юнге арестовали – так он их через несколько дней освободил. Только они раньше богатые были, а теперь нищие. Догадываетесь, куда денюжки перетекли?!» Всё это ерунда, уверяли третьи, Волошин – местный мироед, человек беспринципный – и нашим, и вашим, вот немного подождём, пока большевики окончательно утвердятся (другой вариант: большевиков скинут) и расправимся с ним «в первую голову».

Однако «скидывать» большевиков никто всерьёз не собирался. Хотя и прокатились весной забастовки по Москве и Петрограду, вспыхнуло восстание в Кронштадте, происходили волнения на Кубани и в Донбассе, но на общую ситуацию это уже никак не влияло. Классовая война закончилась. Гражданская – заканчивалась. Революция поднимала мятежи против самой себя. Социалист-революционер А. С. Антонов возглавил восстание в Тамбовской губернии уже после окончательного поражения белой армии. 1 марта 1921 года в Кронштадте, на Якорной площади, состоялся митинг, на котором присутствовало шестнадцать тысяч матросов, красноармейцев и рабочих. И вот какая была принята резолюция: «Ввиду того, что настоящие советы не выражают воли рабочих и крестьян,

немедленно сделать перевыборы советов тайным голосованием... Мы требуем свободы слова и печати для рабочих и крестьян, анархистов и левых социалистических партий; свободы собраний, профессиональных союзов и крестьянских объединений; освободить всех политических заключённых социалистических партий, а также всех рабочих и крестьян, красноармейцев и матросов, заключённых в связи с рабочими и крестьянскими движениями...» И далее в том же духе. Так кто же с кем «воевал»?.. Войны, конечно, уже не было, но продолжалось жестокое, кровавое подавление инакомыслия. Не допускались любые апелляции к Закону и Справедливости даже со стороны «ударников революции».

Однако главным врагом и большевиков, и беспартийных становился голод, уже давно ощущавшийся повсеместно, но особенно жестоко заявивший о себе в Поволжье. На очереди был Крым... Тогда, осенью 1921 года, положение переходило в критическое. В астрономической прогрессии росли цены на хлеб. «В Крыму мёртвый голод, – сообщает Волошин Ю. Оболенской, – и едва ли многие переживут эту зиму». Кто-то питался одним кизилом, Герцыки в Судаче – картофельными очистками, в санатории, куда устраивается на лечение Волошин, подавали суп из фасольного порошка. На грани жизни и смерти – астроном, директор Московской обсерватории В. К. Цераский. У А. М. Петровой начинается водянка, которая приобретает всё более острые формы. Причина болезни всё та же: голод, истощение. 28 ноября Александра Михайловна умирает. В тяжёлом состоянии пребывает Поликсена Соловьёва, страдающая от болезни почек. «Почти вся интеллигенция выкинута на улицу», – пишет Волошин уехавшему в Москву Вересаеву.

Ещё не оправившись от собственного недуга, Макс вновь принимается за хлопоты. Он обращается к тому же Вересаеву и Луначарскому с просьбой о содействии в выдаче академических пайков местным работникам культуры. Волошин призывает в помощники даже Марину Цветаеву, которую умоляет «привести в Москве всё в движение». Конечно, отдача от всего этого подвижничества – небольшая, но что-то всё же удаётся сделать. Приходит денежная помощь из Москвы, мизерная по тем временам, в размере двух с половиной миллионов рублей, сам поэт получает один миллион в качестве аванса от издательства «Костёр», пытается что-то заработать в Народном университете... Всё, что удаётся добыть, делится, дробится, раздаётся нуждающимся: что-то идёт племянникам Петровой, что-то семье Юнге, большая часть высылается вечно всем недовольной Елене Оттобальдовне. Оправдывая своё пребывание в Феодосии, поэт пишет матери 15 января 1922 года: «Здесь я получаю санаторное питание, военный паёк за лекции на Комкурсах и (изредка, правда) академический. Последние два посылаю тебе. Если я вернусь в Коктебель, то питаться нам будет нечем...» Кстати сказать, на «комкурсах» поэт не удержался: его идеологический облик не соответствовал критериям нового режима. Ну как можно было читать на большевистских сборищах «Матроса» или «Красногвардейца»?! А уж если отказываешься произнести надгробную речь в память какого-нибудь красного палача, дело вообще пахнет расстрелом...

Впрочем, скоро и расстреливать некого будет. «Ползают по тротуарам умирающие... валяются неубранные трупы, – пишет Волошин Вересаеву 12 марта. – ...Из детских приютов вытряхивают их мешками. Мертвецкие завалены. На окраине города по овражкам устроены свалки трупов... Трупоедство было сперва мифом, потом стало реальностью... Американцы выгружают кукурузу для Саратова и провозят через Крым. Здесь не остаётся. Вокруг вагонов – толпы мальчишек, собирающих зёрна. По ним стреляют... Засевов – нигде и никаких. Лошади съедены. Самое худшее положение татар. Продналог в Крыму взят полностью». Что страшнее – прошлая зима, зима крови, или нынешняя, зима голода? – задаётся вопросом поэт. Да и найдется ли смысл в ответе...

Важно другое. Признавая необратимость случившегося, он верит «в правоту верховных сил», ведущих его страну сквозь грозные испытания в царство любви и гармонии. Вспомним: ещё в июне 1917 года в стихотворении «Подмастерье» Волошин писал о предназначении человека, рождённого, «Чтоб выплавить из мира / Необходимости и Разума – / Вселенную Свободы и Любви...». И теперь, в начале 1920-х, он, по воспоминаниям

М. Н. Изергиной, не устаёт мечтать о «прыжке из царства необходимости в царство свободы». В тисках несвободы и голода художник разрабатывает своё учение о диалектике, согласно которому человек со временем войдёт в новую качественную фазу. Максимально взращивая в себе духовные качества, человечество (Макс не может не мыслить в планетарных масштабах) непременно превратится в некую совершенную расу, опирающуюся на высшие этические и эстетические законы. «Из самых глубоких кругов преисподней Террора и Голода я вынес свою веру в человека...» – пишет Волошин в «Автобиографии». Остаётся только подвести под эту веру, под этот страшный опыт жизни «на дне преисподней» поэтический фундамент. Тем более, пишет поэт, именно эти годы «являются наиболее плодотворными в моей поэзии, как в смысле качества, так и количества написанного».

В декабре 1921 года поэтесса С. Парнок, уезжая из Крыма в Москву, берёт с собой рукопись книги Волошина «Неопалимая Купина», включающую в себя 31 стихотворение. Книга эта, имеющая подзаголовок «Стихи о войне и революции», так и не будет напечатана, не выйдут впоследствии отдельным изданием и её расширенные варианты. Только сегодня мы можем судить о том, что представлял собой поэтический замысел Волошина и каковы его взгляды на судьбу России в контексте её прошлого и будущего. Прав был А. С. Яценко, который, ознакомившись с присланными ему стихами, сказал: Волошин «посмотрел на нашу революцию в перспективе всей нашей истории». Исходя именно из этой перспективы, поэт от лица своего трагического поколения обратился к потомкам, наследникам российской истории:

...Мы вышли в путь в закатной славе века,  
В последний час всемирной тишины,  
Когда слова о зверствах и о войнах  
Казались всем неповторимой сказкой.  
Но мрак и брань, и мор, и трус, и глад  
Застигли нас посереде дороги:  
Разверзлись хляби душ и недра жизни,  
И нас слизнул ночной водоворот.  
Стал человек – один другому – дьявол;  
Кровь – спайкой душ; борьба за жизнь – законом;  
И долгом – месть.  
Но мы не покорились:  
Ослушники законов естества –  
В себе самих укрыли наше солнце,  
На дне темниц мы выносили силу  
Неодолимую любви, и в пытках  
Мы выучились верить и молиться  
За палачей, мы поняли, что каждый  
Есть пленный ангел в дьявольской личине,  
В огне застенков выплавили радость  
О преосуществлении человека,  
И никогда не грезили прекрасней  
И пламенней его последних судеб...

(«Потомкам (во время террора)», 1921)

В окончательный вариант книги «Неопалимая Купина» входят 72 стихотворения, сгруппированные в шесть циклов («Война», «Пламена Парижа», «Пути России», «Личины», «Усобица», «Возношения») и две поэмы («Протопоп Аввакум» и «Россия», законченная уже в 1924 году). Принципиальное отличие книги Волошина от других поэтических произведений, посвящённых российскому лихолетью, сразу же бросается в глаза. Одной из

первых характернейшую особенность волошинского мировосприятия, сказавшуюся в его стихах конца 1910-х – начала 1920-х годов, подметила М. Цветаева: «В начале дружбы я часто с ним сшибалась, расшибалась – о его неуязвимую мягкость...

– Ты не понимаешь, Марина. Это совсем другой человек, чем ты... И по-своему он совершенно прав – так же, как ты – по-своему.

Вот это „прав по-своему“ было первоосновой его жизни с людьми... Человек и его враг для Макса составляли целое... Вражду он ощущал союзом. Так он видел и германскую войну, и гражданскую войну, и меня с моим неизбывным врагом – всеми. Так можно видеть только сверху, никогда сбоку, никогда из гуши...»

Сама Цветаева видела события Гражданской войны под другим углом зрения; её позицию можно было бы назвать христианско-дворянско-монархической. Старый мир России воспринимался ею в первую очередь как мир Божий и царский; дворянство почиталось как истинный народ, плоть и кровь России. Его истинным назначением было служить Богу, Царю и Отечеству, потому Белая гвардия представлялась как высший, «соборный» мир. Художественный мир Цветаевой, отмечали литературоведы, – мир конкретно-исторический, с точными датами и реальными событиями. И в то же время это мир мифопоэтический, где наряду с главным адресатом книги – «белым лебедем» Сергеем Эфроном, так или иначе фигурируют князь Игорь, Ярославна, боярыня Морозова, незримо бьётся «Святое сердце Александра Блока». Это мир былинно-исторических напластований, в котором, как и у Волошина, сквозь настоящее просвечивает прошлое: Чингисхан, Петровская эпоха, Вандея... Прошлое объясняет и предугадывает настоящее. Но, в отличие от Волошина, Цветаева чётко расставляет морально-религиозные акценты в «горизонтальных» парах. В непримиримых столкновениях Дворянства с Чернью, Белого Лебедя с Красным Зверем (Чёрным Вороном), Святого Георгия с Драконом, Архангела с Антихристом нравственная истина всегда на стороне первого начала. Свет и Тьма имеют чёткие координаты – в мифе, истории и сегодняшнем дне.

Победно-мученический (подобный Святому Георгию) образ Лебединого стана («Семь мечей пронзали сердце...»; «...И взойдёт в Столицу – Белый полк!») сменяется трагически-обречённым, уходящим («Об ушедших – отошедших – / В горний лагерь перешедших...»; «Кончена Русь!»). В книге Цветаевой отсутствует волошинский синтез: рождение – через огонь Святого Духа, через муки и безумие – новой России на пепелище старой. И лишь в последнем стихотворении («С Новым годом, Лебединый стан!»), закономерно отталкиваемом от предыдущего («Плач Ярославны»), ощущается своеобразный катарсис («С Новым годом, молодая Русь / За морем за синим!»), который, впрочем, только отчасти «просветляет» безысходный мрак Истории.

Одностороннюю позицию (гражданскую и творческую) занимал и поэт Николай Туроверов, донской казак, участник Белого движения. Офицер лейб-гвардии Атаманского полка, подобно лирическому герою «Лебединого стана», пережил все перипетии Ледяного похода, трагедию «Добровольческой Голгофы». Эмигрировал в Париж, в литературных кругах которого не прижился. «Со свойственным парижским снобизмом от него отмахивались, как от „Казачьего“ поэта», – отмечает Г. Струве. Однако виднейший критик русского зарубежья Г. Адамович назвал Туроверова талантливым поэтом, выделив в качестве основной доминанты его творчества «мужественность». Действительно, мужественно-стоическое приятие «шалльной судьбы» – своей страны и личной – определило настроение большинства произведений Н. Туроверова. Причём мужественности, по его словам, он учился у Гумилёва.

Н. Туроверов ощущает себя как бы «внутри» исторического катаклизма. Эпохальные события Гражданской войны он воспринимает через мудрость казачьего Круга и пылкость легендарного Платова, сквозь стремительную иноходь коня и блеск шашки, собственный военный азарт и честь белогвардейца. Вот характерные строки из поэмы (цикла стихов) «Новочеркасск» (1922):

Дымилась Русь, горели сёла,  
Пылали скирды и стога.  
И я в те дни с тоской весёлой  
Топтал бегущего врага,  
Скача в рядах казачьей лавы,  
Дыша простором диких лет –  
Нас озарял забытой славы,  
Казачьей славы пьяный свет...  
И сердце всё запоминало, –  
Легко рубил казак с плеча,  
И кровь на шашке засыхала  
Зловещим светом сургуча.

«Походов вьюги и дожди» (и здесь – «вьюги»), «снега корниловской Кубани», «хмель сражений» на Дону и в Крыму, «беспокойный дух кочевий», «свирель прадедовского края» – всё это составляет основную тематику творчества Туруверова. Лирические настроения поэта обусловлены горечью утраты – родной станицы, с душистыми стогами и криком перепелов, а в более широком смысле – России, могучей державы, на которую обрушился и которую захлестнул «орды девятый вал».

Из крупных поэтов, за исключением, пожалуй, Маяковского, мало кто рассматривал события революции и Гражданской войны столь пристально и объёмно, как Волошин, Цветаева или Туруверов (хотя сопоставление Волошина с кем-либо в этом отношении принципиально невозможно – «как в смысле качества, так и количества написанного»). Роковой «роман» с «Девой-революцией» пережил Александр Блок, пройдя через «тоску, ужас, покаяние, надежду». В своей программной статье «Интеллигенция и революция» (1918) он призывает слушать её «всем телом, всем сердцем, всем сознанием». Блок высказывает мысль, под которой вполне мог бы подписаться и Волошин: «России суждено пережить муки, унижения, разделения; но она выйдет из этих унижений новой и – по-новому – великой». И всё же в принципиальных моментах постижения событий расхождение двух поэтов очевидно. Блок призывал к «примирённости музыкальной» с ходом истории, отмечал, что, «вне зависимости от личности, у интеллигенции звучит та же музыка, что и у большевиков». (Ответ на анкету «Может ли интеллигенция работать с большевиками?» 14 января 1918 года.) Об отношении Волошина к русской интеллигенции уже говорилось, о его трактовке большевизма речь ещё впереди. В происходящем он чувствовал не музыку, которой гремит «разорванный ветром воздух», а провиденциальную неизбежность (впрочем, мистериально-телеологический подход к теме России, апокалиптический ракурс восприятия событий были в определённой степени характерны и для Блока). А. Блок стремился принять революцию сердцем (и сердце не выдержало); М. Волошин воспринимал случившееся высшим разумом, космически (конечно же и сердцем тоже).

Завершающим актом «романа» Блока с революцией стала поэма «Двенадцать» (1918). Споры по поводу трактовки поэмы велись с момента её выхода. Вопрос упирался в толкование заключительной триады образов: Христос – двенадцать – «голодный пёс». Возглавляет ли Иисус Христос революционное шествие, освящая собой путь в новое будущее, или же его под конвоем препровождают на казнь, что являет собой обречённость Истины в условиях «страшного мира»? В оценке «Двенадцати» Блока критики занимали прямо противоположные позиции, предлагая взаимоисключающие трактовки. Поэта иногда сопоставляли с Цветаевой: красногвардейцев Блока ведёт Иисус Христос; белогвардейцев Цветаевой – Богородица.

Пожалуй, наиболее глубокое проникновение в художественный мир «Двенадцати» мы находим у Волошина. Он оценивает произведение Блока как «одно из прекрасных художественных претворений действительности». Блок в восприятии Волошина остаётся и здесь поэтом «Прекрасной Дамы» и «Снежной маски»: всё тот же вьюжный фон, перезвон

ледяных колокольчиков, «та же симфоническая полнота постоянно меняющихся ритмов, тот же винный и любовный угар, то же слепое человеческое сердце, потерявшее дорогу среди снежных вихрей, тот же неуловимый образ Распятого, скользящий в снежном пламени». Подобно Прекрасной Даме, блоковский Христос «сквозит сквозь наваждения мира». Красный флаг в его руках – новый вариант креста, «символ его теперешних распятий». Красноармейцы, считает Волошин, одновременно преследуют Иисуса Христа и нуждаются в нём, а саму поэму следует понимать как «трагедию отдельной человеческой души, кинутой в тёмный лабиринт страстей и заблуждений и в нём потерявшей своего Христа, как для Блока в данном случае».

«Двенадцать» нередко соотносят с поэмой Андрея Белого «Христос воскрес!», написанной в том же году. Белому, как и Волошину, был свойствен космический взгляд на события. Как некий синтез возвышенной скорби и софийного всепрятия.

Поэму «Христос воскрес!» литературовед С. П. Ильёв оценил как «мистериальное действие космического преобразования мира в результате исторической катастрофы». По мнению учёного, Белый отталкивается от смутного финала блоковской поэмы: «Второе пришествие Иисуса Христа в грозе и буре космических и социальных стихий и уводимые им двенадцать красногвардейцев от революционного действия в Ничто. В поэме „Христос воскрес!“ именно социальная революция представлена как проявление мировой мистерии страстнотерпного движения человечества в духовно преображённый всеобщим страданием и жертвенной кровью обновлённый мир...» В поэме Андрея Белого «второе пришествие уже происходит», – «в громе апокалиптических событий истории», «в тишине сердец, откуда появляется Христос» и где «Он, наконец, воскрес!».

Обращаясь к перипетиям «страшных лет России», некоторые поэты использовали условно-мифологический шифр. Загадочны, а порой тяжелодумны стихотворения Осипа Мандельштама 1917–1918 годов («Кассандре», «Сумерки свободы», «На страшной высоте блуждающий огонь!» и др.). Пророческим пафосом и библейской образностью проникнуты произведения Николая Клюева и Сергея Есенина. Николай Гумилёв стремился отгородиться от революционной действительности и не «пускать» её в свои стихи.

Редко встречаются страшные приметы истории и в творчестве Б. Пастернака этого периода. В цикле стихотворений, озаглавленном «Болезнь» (1918–1919), упоминается «шум машин в подвалах трибунала». Больной «видит сон: пришли и подняли. Он вскакивает: „Не его ль?...“». Нет, пока пронесло... Но в целом эти страхи уходят в подтекст, создавая подспудное напряжение внешне «невинных» стихов конца 1910-х годов.

Крик души вырывается у далёкого от политики и всецело, казалось бы, принимающего новый мир Велимира Хлебникова. Он не подстраивался под события, не ловил на лету ветер господствующей идеологии. Поэта всерьёз увлекла мечта о преобразении мира. «Лобачевский слова», революционер стиха, Хлебников вроде бы попал в родственную ему внутренне эпоху, где всё свершается, «Чтобы зажечь костёр почина / Земного быта перемен». Но... навсегда врезался ему в память «У смерти утёсов / Прибой человечества...». Обращаясь к современникам, поэт говорит:

Вы очарованы в железный круг –  
Метать чугунную икру.  
Ход до смерти – суровый нерест  
Упорных смерти женихов,  
Войны упорных осетров,  
Прибою поперёк ветров,  
То впереди толпы пехот –  
Колчак, Корнилов и Каледин...

(«Синие оковы», 1922)

«Будетлянин» не ставит вопрос, кто прав, кто виноват. Он создаёт эпическое полотно

трагедии. Не случайно Ю. Тынянов называет хлебниковские поэмы «Ночь перед Советами», «Ночной обыск», «Уструг Разина» вкупе с XVI отрывком из «Зангези» «наиболее значительным, что создано в стихах о революции». В конце жизни поэт переосмысливает события последних лет; былые радужные надежды постепенно гаснут. Ровно через пять лет после свободы «нагой», бросающей «на сердце цветы», появляется образ «слепой свободы» («Синие оковы»), по ту сторону которой – «гробов доска». Подобно Волошину и Цветаевой, Хлебников воспринимает сегодняшний день в контексте трагической российской истории, глазами «Мукдена» и «Калки», перипетии Гражданской войны – через «Углич» (Смуту) и смерть «царевичей» (невинных людей).

Как видим, Волошин с его историософскими умозрениями и гражданско-публицистическим творчеством является фигурой исключительной и в то же время характерной для его эпохи. Он не создал принципиально новой теории «преходящего» момента. Однако сам метод восприятия событий заметно выделяет Волошина из числа ведущих поэтов Серебряного века и русского зарубежья. Он чужд «одностороннего» взгляда на вещи, характерного для Цветаевой и Маяковского, далёк от туруверовской «приземлённости» и отстранённого «космизма» А. Белого. Поэт не ушёл в «молчаливость», подобно Пастернаку или Гумилёву. Ему не свойственна образно-мифологическая кодопись Мандельштама и лексически-числовая заумь Хлебникова. Философско-эстетическое кредо Волошина выражено в стихотворении «Доблесть поэта» (1925):

Творческий ритм от весла, гребущего против течения.  
В смутах усобиц и войн постигать целокупность.  
Быть не частью, а всем: не с одной стороны, а с обеих.  
Зритель захвачен игрой – ты не актёр и не зритель.  
Ты соучастник судьбы, раскрывающий замысел драмы.  
В дни революции быть Человеком, а не Гражданином...

Стихотворение написано гекзаметром. Уже в самом размере, связанном с античностью, критерий вечности категорий добра и зла... Сходные мысли мы находим и в статьях поэта, в частности в его лекции «Россия распятая»: «И актёр и зритель могут быть участниками политического действия, ничего не зная о содержании последующего акта и не предчувствуя финала трагедии; поэт же должен быть участником замыслов самого драматурга. Важнее отдельных лиц для него общий план развёртывающегося действия, архитектурные соотношения групп и характеров и очистительное таинство, скрытое Творцом в замысле трагедии... Поэтому положение поэта в современном ему обществе очень далеко от группировок борющихся политических партий».

Человеческие ценности для поэта всегда были выше классовых и государственных начал, социально-идеологических схем. Художник не принимал само понятие «большевизм», но в его содержание вкладывал свои, нетрадиционные представления. «Сколько раз мне приходилось слышать от „буржуев с военной психологией“, что необходимо после занятия севера „повесить Горького“ и „расстрелять Брюсова и Блока“, – пишет Волошин в статье „Соломонов суд“ (1919). – ...Эти проявления классовой психологии очень страшны и представляют из себя явление чисто большевицкого характера. „Большевизм“ – это ведь вовсе не то, что человек исповедует, а то, какими средствами и в каких пределах он считает возможным осуществить свою веру».

Гуманизм Волошина связан с фатализмом, с «глубокой религиозной верой в предназначённость своего народа и расы». Поэт считал, что «у каждого народа есть свой мессианизм, другими словами – представление о собственной роли и месте в общей трагедии человечества». Повседневная этика Волошина сочетается с вневременным, космическим взглядом на вещи; положение человека, погибающего «среди чёрных пламеней, среди пожарниц мира» – с позицией поэта, поставленного «на замок небесных сводов»,

внимающего «Растущий вопль земных народов / Подобный рёву многих волн...». Впрочем, сочетание это нельзя назвать равновесием, ибо ещё в 1915 году, когда писались эти строки, чаша весов явно склонялась в сторону земного начала человеческой трагедии. («Я ввержен был обратно в ад...») Философ-мудрец никогда не заслонял в поэте страдающего человека, сочувствующего конкретному несчастью.

Свои культурно-исторические и философско-эстетические взгляды, обретенные в «плавленном огне русской революции», Волошин с наибольшей полнотой выразил в цикле стихов «Пути России», поэме «Россия», книге поэм «Путями Каина» и лекции-статье «Россия распятая».

«Революция есть нарушение высшего религиозного принципа жизни, принципа органического единства», – писал философ С. Аскольдов в статье «Религиозный смысл русской революции». По его мнению, революция – это власть множественности над государственным единством. У Волошина эта множественность, «расплавляющая спайки целого», – множественность бесов. Поэт прилагает притчу из «Евангелия от Луки» – о бесах, вошедших в стадо свиней, – к историческим и текущим событиям, привнеся своё толкование. «Великая русская равнина – исконная страна бесноватости, – говорит он в лекции „Россия распятая“. – Отсюда в древности шли в Грецию оргические культы и дионисические поступления; здесь с незапамятных времён бродит хмель безумия.

Свойство бесов – дробление и множественность... Изгнанный из одного одержимого, бес становится множеством, населяет целое свиное стадо, а стадо увлекает пастухов вместе с собою в бездну». Происходящее в России, в частности в Петрограде, Волошин сравнивает со зловещим спиритическим сеансом, когда «в пустоту державного средоточия ринулись Распутины, Илиодоры и их присные. Импровизированный спиритический сеанс завершился в стенах Зимнего Дворца всенародным бесовским шабашем семнадцатого года...», что он выразил и в стихотворении «Петроград»:

...Сквозь пустоту державной воли,  
Когда-то собранной Петром,  
Вся нежить хлынула в сей дом,  
И на зияющем престоле,  
Над зыбким мороком болот  
Бесовский правит хоровод...

Финал этого «шабаша» предопределён:

...Те бесы шумны и быстры:  
Они вошли в свиное стадо  
И в бездну ринутся с горы.

Впрочем, поэт не заостряет внимания на «исходе» этой «безысходной», казалось бы, «бесовщины», не ставит вопрос об «исцелении» (хотя в стихотворении «Русь глухонемая» упоминается «меч молитв», «обрубающий» эту болезнь) – он задумывается о природе её происхождения. 10 декабря 1917 года, на другой день после написания стихотворения «Петроград», поэт создаёт «Трихины». Слово это, как уже говорилось, заставляет вспомнить последние страницы романа Достоевского «Преступление и наказание». В Сибири осужденный Раскольников попадает в острожную больницу: «Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей... Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми... Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные... Целые селения, целые города и

народы заражались и сумасшествовали... Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе...» Прошло сорок с небольшим лет, и вот «дыхание ужаса революции» привело поэта к осознанию: «Исполнилось пророчество: трихины / В тела и в дух вселяются людей...» Финал романа представляется Волошину «апокалиптическим видением, в котором уже есть всё, что совершается, и много того, чему ещё суждено исполниться».

Неужели человек столь плох и в природе его заложены звериные инстинкты, страсть к убийству и разрушению? Отнюдь нет. Вслед за автором «Преступления и наказания», «Бесов» Волошин почувствовал, что в революционной вакханалии виновен не сам человек, что его подчиняют некие «духи». Это даже не демоны, а «духи невысокого полёта: духи-звери, духи-идиоты, духи-самозванцы, обманщики и шарлатаны». Можно назвать их трихинами, а можно – бесами, то есть духами зла, «невидимыми врагами» человеческого рода. «Перегонять бесов из человека в человека, из свиньи в бездну, из бездны опять в человека – это значит только способствовать бесовскому коловращению, вьюжной метели, заматающей русскую землю», – пишет Волошин. Это почти буквально перекликается с тем, что утверждает Бердяев в статье «Духи русской революции»: «Русский нигилизм, действующий в хлыстовской русской стихии, не может не быть беснованием, иступлённым вихревым кружением. Это иступлённое вихревое кружение и описывается в „Бесах“...»

Для Достоевского было важно то, что эта страшная болезнь – расплата за века грехов и ошибок, накопленных русской историей, за нигилизм и хаос, воцарившийся в умах молодого поколения. «Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней, – это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века!..» – жалуется один из героев романа «Бесы» Степан Петрович Верховенский. Знаменательно и то, что эта болезнь захлестывает все слои общества. Ей подвержен и дворянин Пётр Верховенский – по Бердяеву, главный бес, «вселяющийся во всех и овладевающий всеми». Но это и расчётливый бес Федька-каторжный, вдохновившийся «необыкновенной способностью» своих господ к преступлениям. И у Волошина речь идёт о «безумии целых рас», огромных социальных групп, «тех» и «других»:

Одни восстали из подполий.  
Из ссылок, фабрик, рудников,  
Отравленные тёмной волей  
И горьким дымом городов.

Другие из рядов военных,  
Дворянских разорённых гнёзд,  
Где проводили на погост  
Отцов и братьев убиенных.

В одних доселе не потух  
Хмель незапамятных пожаров,  
И жив степной, разгульный дух  
И Разиных, и Кудеяров.

В других – лишённых всех корней –  
Тлетворный дух столицы Невской:  
Толстой и Чехов, Достоевский –  
Надрыв и смута наших дней.

Одни возносят на плакатах  
Свой бред о буржуазном зле,  
О светлых пролетариатах,

Мещанском рае на земле...

В других весь цвет, вся гниль империй,  
Всё золото, весь тлен идей.  
Блеск всех великих фетишей  
И всех научных суеверий.

Одни идут освобождать  
Москву и вновь сковать Россию,  
Другие, разнуздав стихию,  
Хотят весь мир пересоздать...

(«Гражданская война»)

И главное: «В тех и в других война вдохнула / Гнев, жадность, мрачный хмель разгула»; у «тех» и «других» – единый лозунг: «Нет безразличных: правда с нами». У Достоевского «правда» бесов оборачивается шигалёвщиной, когда «все рабы и в рабстве равны». Волошинский прогноз в стихотворении «Китеж» (1919) немногим отличается от этого умозаключения: «Вчерашний раб, усталый от свободы, / Возропщет, требуя цепей...»

Достоевский в «Бесах» тонко уловил специфику русской природы. Тот же Федька может убить, ограбить церковь, но... со словом Божьим на устах, ибо, по Аскольдову, «именно русский человек, сочетавший в себе зверя и святого по преимуществу, никогда не преуспевал в... среднем». «Идеал у народа Христос, иного у него нет, – отмечает Писатель в диалогах С. Булгакова „На пиру Богов“. – И когда по грехам и слабости своей он об этом забывает, то сразу оказывается зверем, сидящим во тьме и сени смертной».

И у Волошина излюбленные образы – Святая Русь, «покрытая» Русью грешной, Святой Серафим, который – «в каждом Стеньке». Художник осознаёт, что народ, которого «водит на болоте / Огней бесовская игра», духовно болен и сейчас особенно нуждается в исцелении, тем более что он сам не подозревает о своём недуге. Его бесовщина выражается, писал Достоевский в «Дневнике писателя» за 1873 год, как «потребность хватить через край... свеситься... в самую бездну...», готовность «отречься от всего, от семьи, обычая, Бога». Впрочем, уточняет автор, «...с такою же жаждою самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасает себя сам... когда уже идти больше некуда».

Отмечает и Волошин в поэме «Россия», говоря о природе русской природы, это «бродило духа – совесть / И наш великий покаянный дар...» – нечто родственное утверждению Аскольдова о «соборной целостности русской души» – в России «всегда осуществлялся подвиг братского замещения греха одних смирением, терпением других». И, конечно, молитвой. Молитва «за тех и за других» – единственное, что в годину братоубийственной войны оставалось поэту, выучившемуся «молиться за палачей», ибо «каждый / Есть пленный ангел в дьявольской личине». Отсюда – его способность видеть в белом офицере и красном комиссаре братьев.

«...Когда дети единой матери убивают друг друга, надо быть с матерью, а не с одним из братьев». А братья – равны в своей правоте и неправоте. Волошин был убеждён, что мир строится на равновесиях. «Две дуги одного свода, падая одна на другую, образуют несокрушимый упор. Две правды, два принципа, две партии, противопоставленные друг другу в устойчивом равновесии, дают опору для всего здания». Мысль о равновесии двух сил, созидающих мироздание, была высказана поэтом ещё в сонетах под общим названием «Два демона» (1915). В лекции «Россия распятая» она получает своё развитие в социально-историческом плане.

Конечно, принцип равновесия сил не означал для Волошина религиозной беспринципности. Ведь увидел же он наконец в антропософии «досадное малокровие», чуждое русской душе, предпочтя ей христианство, с его «живым творческим символом, немедленно распускающимся в душе». Не мог принять он и новой религии – социализма. И

это понятно. Христианство есть религия Царства Небесного. Социализм – религия «мещанского рая на земле». «Именем социализма трудящиеся массы отравлены ядом подлинно буржуазной мещанской жадности, – писал в апреле 1918 года философ Георгий Федотов. – Кто думает ныне о труде и его святости?...»

Единственным мыслимым идеалом для поэта, как уже говорилось, был «Град Божий». Путь к нему, считал Волошин, – «вся крестная страстная история человечества», «все гневны будущих времён». Согласно христианскому учению, вера в Бога и божественный миропорядок предполагает и веру в сокровенный смысл всех страданий, унижений, испытаний, выпавших на долю человека (или шире – страны).

Долгие годы, прожитые в «горе и унижении», привели к тому, что мы «постигли таинство уходящего Китежа, – пишет один из крупнейших мыслителей-богословов Иван Ильин. – ...в дремучей душевной чаше обрели мы таинственное духовное озеро... *богovidческое око русской земли, око откровения* ... и от него мы повели наше собирание сил и нашу борьбу, – наше национальное Воскресение... Вот откуда наше русское искусство – *побеждать отступая*, не гибнуть в огне земных пожаров и не распадаться в вещественной разрухе, всё равно, горит ли Москва от Довлет-Гирея или от двенадцати языков, пан ли Жолкевский засел под Иваном Великим, или революционные святотатцы свили своё поганое гнездо под Царь-Пушкой...». Даже сейчас, считает философ, «в годину величайшей соблазнённости и величайшего крушения – уже началось и совершается незримое *возрождение в зримом умирании*...»

Приход большевиков к власти ознаменовал собой, как считали лучшие умы России, царство антихриста. «Это всё та же основная идея русского нигилизма, – писал, например, Н. Бердяев, – русского социализма, русского максимализма, всё та же inferнальная страсть к всемирному уравниению, всё тот же бунт против Бога во имя всемирного счастья людей, всё та же подмена царства Христова царством антихриста». Но те же мыслители сознавали и то, что «в соседстве с заглушающими плевелами созревают хорошие колосья... Это созревание невидимое, неслышное, не творящее громких дел, но прочно созидательное для строящегося невидимого града Божия». Под этими словами Н. Бердяева вполне мог бы подписаться и М. Волошин.

В основе историософской этики Волошина заключена вера в божественное предопределение, в неизбежность путей России. Логические категории здесь не помогут. «Умом Россию не понять...» В русской революции поэта поражали прежде всего её нелепость, некоторая надуманность, несоответствие вещей самим себе. Ведь в России «нет ни аграрного вопроса, ни буржуазии, ни пролетариата в точном смысле этих понятий. Между тем именно у нас борьба между этими несуществующими величинами достигает высшей степени напряжённости и ожесточения», – писал Волошин, возможно, несколько упрощая социально-экономическую подоплёку событий. Однако, констатируя «великий исторический абсурд», поэт находит в нём указание на «провиденциальные пути» России:

Темны и неисповедимы  
Твои последние пути,  
И не допустят с них сойти  
Сторожевые Серафимы.

Особым, «космическим», зрением Волошин прослеживал течение истории, вливающейся в «сегодня», воспринимал историю в её единовременном ракурсе. Как уже говорилось, Смута, восстание Стеньки Разина, Петровская эпоха, Термидор во Франции, революция в России – всё это сосуществует у поэта как бы в едином временном кадре. Одно воспринимается через другое.

Волошин ощущает свою глубинную причастность «тёмной, пьяной, окаянной», но всегда Святой Руси, породившей Стеньку и Дмитрия-императора, а в новых вершителях судеб России видит их наследников.«...И опять приду – через триста лет...» – оповещает

Лжедмитрий.«...Три угодника – с Гришкой Отрепьевым / Да с Емелькой придём Пугачём», – поддерживает его Стенька Разин. И уже сам поэт, вкусив от «мук казнённых поколений», спустя триста оговоренных Самозванцем лет, пишет в духе Апокалипсиса:

Анафем церкви одолев оковы,  
Повоскресали из гробов  
Мазепы, Разины и Пугачёвы –  
Страшилища иных веков...

(«Китеж»)

Именно эта вера в роковую предопределённость свершающихся на глазах поэта кровавых событий помогла ему выстоять в годину тяжёлых испытаний и стоически принять неизбежное: «Нам ли весить замысел Господний? / Всё поймём, всё вынесем любя...»

Иван Бунин в книге «Окаянные дни», ссылаясь на работы С. Соловьёва о Смутном времени, Н. Костомарова о восстании Разина, также проводит параллели с современностью, вызывающие у него совершенно другой пафос. Бунина поражает прежде всего то, что на страшную «повторяемость» русской истории «никто и ухом не вёл», ему не верится, «чтобы Ленины не знали, не учитывали всего этого». А раз знали, продолжим мы эту мысль, то не может быть, чтобы они всё это делали по своей воле, кто-то должен был направлять их руку. Не Бог, а «сатана Каиновой злобы, кровожадности и самого дикого самоуправства дохнул на Россию именно в те дни, когда были провозглашены братство, равенство и свобода», – пишет Бунин.

Теория повторяемости, которую в той или иной форме принимают Волошин, Бунин, Цветаева, не нова. Ещё в XVIII веке итальянский философ Джамбаттиста Вико высказал идею исторического круговорота. По его мнению, все народы мира, пройдя сходные циклы развития, возвращаются в первоначальное состояние, после чего начинается новый виток. Повторяемость истории М. Волошин, может быть, нагляднее и убедительнее других поэтов выразил в поэме «Россия»:

Великий Пётр был первый большевик,  
Замысливший Россию перебросить,  
Склонениям и нравам вопреки,  
За сотни лет к её грядущим далям.  
Он, как и мы, не знал иных путей,  
Опричь указа, казни и застенка,  
К осуществленью правды на земле.  
Не то мясник, а может быть, ваятель –  
Не в мраморе, а в мясе высекал  
Он топором живую Галатею,  
Кромсал ножом и шваркал лоскуты.  
Строителю необходимо сручье:  
Дворянство было первым Р.К.П. –  
Опричниною, гвардией, жандармом,  
И парником для ранних овощей...

В трактовке образа Петра Волошин, подобно Мережковскому и Блоку, склоняется к славянофильской концепции, сводящей роль этого царя к сугубо разрушительной функции. Но Волошин есть Волошин: он вновь «летает» на двух крыльях. Роль «мясника» и «первого большевика» никак не умаляет «гения Петра» (при этом поэт не делает упор на это определение и не раскрывает его смысл). Во всяком случае, его точка зрения не вполне совпадает с категоричной позицией Цветаевой, которая считала, что именно Пётр, «бесам на торжество», развалил основы государственной жизни, дедовские устои, подложил угли «под

котёл кипящий» нынешней российской Смуты и стал «родоначальником Советов». Но Макс солидарен с Мариной в одном: нечто роковое, мистическое сближает эпохи, народы, направляет ход событий:

Есть дух Истории – безликий и глухой,  
Что действует помимо нашей воли,  
Что направлял топор и мысль Петра,  
Что вынудил мужицкую Россию  
За три столетия сделать перегон  
От берегов Ливонских до Аляски.  
И тот же дух ведёт большевиков  
Исконными российскими путями.

Где же источник этого «духа»? У Волошина есть ответ и на этот вопрос: «Истории потребен сгусток воли: / Партийность и программы – безразличны...» Что же касается России, то она несёт в себе «культуру взрыва»:

Огню нужны – машины, города.  
И фабрики, и доменные печи,  
А взрыву, чтоб не распылить себя, –  
Стальной нарез и маточник орудий.  
Отсюда – тяж советских обручей  
И тугоплавкость колб самодержавья.  
Бакунину потребен Николай,  
Как Пётр – стрельцу, как Аввакуму – Никон.  
Поэтому так непомерна Русь  
И в своеволии, и в самодержавьи.  
И в мире нет истории страшней,  
Безумней, чем история России.

Пусть «сны» Истории порой, с точки зрения художника, чужеродны русской душе, пусть смешаны в них «клички», стёрты «границы»: «Наш „пролетарий“ – голытьба, / А наши „буржуа“ – мещане...» Предназначение поэта состоит в том, чтобы почувствовать эту «тёмную и заблудшую душу русской разиновщины», раздираемую «глухонемыми» демонами социальных вихрей и мятежей, осознать особую миссию России, её жребий. Заслонив некогда Европу от татаро-монгольского нашествия, ныне она принимает на себя огонь революций. «Как повальные болезни – оспа, дифтерит, холера – предотвращаются или ослабевают предохранительными прививками, так и Россия – социально наиболее здоровая из европейских стран – совершает в настоящий момент жертвенный подвиг, принимая на себя примерное заболевание социальной революцией, чтобы, переболев ею, выработать иммунитет и предотвратить кризис болезни в Европе».

Не нам ли суждено изжить  
Последние судьбы Европы,  
Чтобы собой предотвратить  
Её погибельные тропы.  
Пусть бунт наш – бред, пусть дом наш – пуст,  
Пусть боль от наших ран не наша,  
Но да не минет эта чаша  
Чужих страданий наших уст!  
И если встали между нами  
Все бреда будущих времён –

Мы всё же грезим русский сон  
Под чуждыми нам именами...

(«Русская революция», 1919)

Несмотря на резкие зигзаги в историческом движении России, считает Волошин, в государственной её сути вряд ли что изменится коренным образом, ибо «социализм сгущённо государственен по своему существу». Поэт убеждён, что «тяжёлая и кровавая судьба России на путях к Граду Невидимому проведёт её ещё и сквозь социал-монархизм, который и станет ключом свода, возводимого теперешней гражданской войной».

Зимой 1918 года в записях И. А. Бунина появилась библейская цитата – из книги Иеремии, чьё пророческое служение пришлось, кстати, на самый мрачный период иудейской истории: «Мир, мир, а мира нет. Между моим народом находятся нечестивые: сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. И мой народ любит это. Слушай, земля: вот Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их». Бунину здесь особенно привлекало выражение «...пагуба, плод помыслов их», то есть та самая, как писал Достоевский, «невинная, милая, либеральная болтовня» людей, которых «пленил не социализм, а чувствительная сторона социализма».

М. Волошин в эпоху революции и Гражданской войны так же смотрит на происходящее сквозь призму библейских истин и пророчеств. Его вера в судьбу России метафорически выражена в стихотворении «Видение Иезекииля» (1918), в основе которого лежит идея кары, постигшей народ Израиля за вероотступничество и идолопоклонство, и – последующего возрождения Иерусалима к новой жизни. Исполненную того же пафоса идею поэт воспринял в финале «Преступления и наказания» и выразил уже в своей ранней статье «Пророки и мстители» (1906): «В пророчестве Достоевского чувствуется именно эта катастрофа: новое крещение человечества огнём безумия, огнём св. Духа. Нынешнее человечество должно погибнуть в этом огне, и спасутся те немногие, которые пройдут сквозь это безумие невредимыми...»

«Поруганной и нищей» России, считает Волошин, предстоит долгий и мучительный путь. Однако «дух Истории» и «сгусток воли» выведут её судьбу на новые рубежи, помогут ей преодолеть разруху и террор, бесчестье и голод. Долг поэта – быть сопричастным судьбе России-Славии, верить в неизбежность и предначертанность её путей, гореть и не сгорать в пламени Неопалимой Купины.

## НЕ ИЗГОЙ, А ПАСЫНОК РОССИИ...

...Всей грудью к морю, прямо на восток,  
Обращена, как церковь, мастерская,  
И снова человеческий поток  
Сквозь дверь её течёт, не иссякая.

### Дом Поэта

*...Он так же давал, как другие берут. С жадностью. Давал, как отдавал. Он и свой коктебельский дом... такой его по духовному праву, кровный, внутренне свой, как бы с ним сорождённый, похожий на него больше, чем его гипсовый слепок, – не ощущал своим, физически своим... Зато море, степь, горы – три коктебельские стихии и собирательную четвёртую – пространство, он ощущал так своими, как никакой кламарский рантье свой «павильон»...*

**М. Цветаева. Живое о живом**

В марте 1921 года на очередном партийном съезде было принято решение о переходе к